



МИГЕЛЬ

*«Кто много читает и много
ходит, тот много видит
и много знает.»*

ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

ТОМ I

*ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО
ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Мигель де Сервантес Сааведра

**Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский. Т. I**

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

1605

УДК 821.134.1-31
ББК 84(4Исп)-44

Сервантес Сааведра М.

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. I /
М. Сервантес Сааведра — «ФТМ», «Издательство АСТ»,
1605 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-102866-4

Свой лучший роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», с которого началась эра новейшего искусства, Мигель де Сервантес Сааведра (1547–1616) начал писать в тюрьме. Автор бессмертной книги прожил жизнь великого воина, полную приключений и драматических событий. Свой роман Сервантес адресовал детям и мудрецам, но он слишком скромно оценил свое великое творение, и рыцарь Печального образа в сопровождении своего верного оруженосца продолжает свое нескончаемое путешествие по векам и странам, покоряя сердца все новых и новых читателей. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.134.1-31

ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-17-102866-4

© Сервантес Сааведра М., 1605

© ФТМ, 1605

© Издательство АСТ, 1605

Содержание

Часть I	6
Посвящение	6
Пролог	7
Глава I,	18
Глава II,	21
Глава III,	25
Глава IV	29
Глава V,	33
Глава VI	36
Глава VII	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Мигель де Сервантес Сааведра

Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский. Т. I

*Троя не была бы сожжена, а Карфаген разрушен, – мне довольно
было бы убить одного Париса.*

М. де Сервантес, «Дон Кихот»

Miguel de Cervantes Saavedra

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

© Перевод. Н. Любимов, наследники, 2017

© Перевод стихов. Н. Эристави, 2017

© Издание на русском языке AST Publisher, 2017

Часть I

Посвящение

**ГЕРЦОГУ БЕХАРСКОМУ, МАРКИЗУ
ХИБРАЛЕОНСКОМУ, ГРАФУ БЕНАЛЬКАСАРСКОМУ
И БАНЬЯРЕССКОМУ, ВИКОНТУ
АЛЬКОСЕРСКОМУ, СЕНЬОРУ КАПИЛЬЯССКОМУ,
КУРЬЕЛЬСКОМУ И БУРГИЛЬОССКОМУ**

Ввиду того, что Вы, Ваша Светлость, принадлежа к числу вельмож, столь склонных поощрять изящные искусства, оказываете радушный и почетный прием всякого рода книгам, наипаче же таким, которые по своему благородству не унижаются до своекорыстного угождения черни, положил я выдать в свет Хитроумного идалго Дон Кихота Ламанчского под защитой достославного имени Вашей Светлости и ныне, с тою почитительностью, какую внушает мне Ваше величие, молю Вас принять его под милостивое свое покровительство, дабы, хотя и лишенный драгоценных украшений изящества и учености, обычно составляющих убранство произведений, выводящих из-под пера людей просвещенных, дерзнул он под сенью Вашей Светлости бесстрашно предстать на суд тех, кто, выходя за пределы собственного невежества, имеет обыкновение при разборе чужих трудов выносить не столько справедливый, сколько суровый приговор, – Вы же, Ваша Светлость, вперив очи мудрости своей в мои благие намерения, надеюсь, не отвергнете столь слабого изъяснения нижайшей моей преданности.

Мигель де Сервантес Сааведра

Пролог

Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего разума, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить бесплодный мой и неразвитый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне, полном самых неожиданных мыслей, доселе никому не приходивших в голову, – словом, о таком, какого только и можно было породить в темнице, местопребывании всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков? Тихий уголок, покой, приветные долины, безоблачные небеса, журчащие ручьи, умиротворенный дух – вот что способно оплодотворить самую бесплодную музу и благодаря чему ее потомство, едва появившись на свет, преисполняет его восторгом и удивлением. Случается иной раз, что у кого-нибудь родится безобразный и нескладный сын, однако же любовь спешит наложить повязку на глаза отца, и он не только не замечает его недостатков, но, напротив того, в самых этих недостатках находит нечто остроумное и привлекательное и в разговоре с друзьями выдает их за образец сметливости и грации. Я же только считаюсь отцом Дон Кихота, – на самом деле я его отчим, и я не собираюсь идти проторенной дорогой и, как это делают иные, почти со слезами на глазах умолять тебя, дражайший читатель, простить моему детищу его недостатки или же посмотреть на них сквозь пальцы: ведь ты ему не родня и не друг, в твоём теле есть душа, воля у тебя столь же свободна, как у всякого многоопытного мужа, у себя дома ты так же властен распоряжаться, как король властен установить любой налог, и тебе должна быть известна поговорка: «Дай накроюсь моим плащом – тогда я расправлюсь и с королем». Все это избавляет тебя от необходимости льстить моему герою и освобождает от каких бы то ни было обязательств, – следственно, ты можешь говорить об этой истории все, что тебе вздумается, не боясь, что тебя осудят, если ты станешь хулить ее, или же наградят, если похвалишь.

Единственно, чего бы я желал, это чтобы она предстала пред тобой ничем не запятнанная и нагая, не украшенная ни прологом, ни бесчисленным множеством неизменных сонетов, эпиграмм и похвальных стихов, коими обыкновенно открывается у нас книга. Должен сознаться, что хотя я потратил на свою книгу немало труда, однако ж еще труднее было мне сочинить это самое предисловие, которое тебе предстоит прочесть. Много раз брался я за перо и много раз бросал, ибо не знал, о чем писать; но вот однажды, когда я, расстелив перед собой лист бумаги, заложив перо за ухо, облокотившись на письменный стол и подперев щеку ладонью, пребывал в нерешительности, ко мне зашел невзначай мой приятель, человек остроумный и здравомыслящий, и, видя, что я погружен в раздумье, осведомился о причине моей озабоченности, – я же, вовсе не намереваясь скрывать ее от моего друга, сказал, что обдумываю пролог к истории Дон Кихота, что у меня ничего не выходит и что из-за этого пролога у меня даже пропало желание выдать в свет книгу о подвигах столь благородного рыцаря.

– В самом деле, как же мне не бояться законодателя, издревле именуемого публикой, если после стольких лет, проведенных в тиши забвения, я, с тяжким грузом лет за плечами, ныне выношу на его суд сочинение сухое, как жердь, не блещущее выдумкой, не отличающееся ни красотами слога, ни игрою ума, не содержащее в себе никаких научных сведений и ничего назидательного, без выносок на полях и примечаний в конце, меж тем как другие авторы уснащают свои книги, хотя бы даже и светские, принадлежащие к повествовательному роду, изречениями Аристотеля, Платона и всего сонма философов, чем приводят в восторг читателей и благодаря чему эти самые авторы сходят за людей начитанных, образованных и красноречивых? Это еще что, – они вам и Священное Писание процитируют! Право, можно подумать, что читаешь кого-нибудь вроде святого Фомы или же другого учителя церкви. При этом они мастера по части соблюдения приличий: на одной странице изобразят вам беспутного повесу,

а на другой преподнесут кущую проповедь в христианском духе, до того трогательную, что читать ее или слушать – одно наслаждение и удовольствие. Все это отсутствует в моей книге, ибо нечего мне выносить на поля и не к чему делать примечания; более того: не имея понятия, каким авторам я следовал в этой книге, я не могу предпослать ей по заведенному обычаю хотя бы список имен в алфавитном порядке – список, в котором непременно значились бы и Аристотель, и Ксенофонт, даже Зоил и Зевксид, несмотря на то, что один из них был просто ругатель, а другой художник. Не найдете вы в начале моей книги и сонетов – по крайней мере сонетов, принадлежащих перу герцогов, маркизов, графов, епископов, дам или же самых знаменитых поэтов. Впрочем, обратись я к двум-трем из моих чиновных друзей, они написали бы для меня сонеты, да еще такие, с которыми и рядом нельзя было бы поставить творения наиболее чтимых испанских поэтов.

Словом, друг и государь мой, – продолжал я, – пусть уж сеньор Дон Кихот останется погребенным в ламанчских архивах до тех пор, пока небо не пошлет ему кого-нибудь такого, кто украсит его всем, чего ему недостает. Ибо исправить свою книгу я не в состоянии, во-первых, потому, что я не доволен для этого образован и даровит, а во-вторых, потому, что врожденная лень и склонность к безделью мешают мне устремиться на поиски авторов, которые, кстати сказать, не сообщат мне ничего такого, чего бы я не знал и без них. Вот откуда проистекают мое недоумение и моя растерянность, – все, что я вам рассказал, служит достаточным к тому основанием.

Выслушав меня, приятель мой хлопнул себя по лбу и, разразившись хохотом, сказал:

– Ей-богу, дружище, только сейчас уразумел я, как я в вас ошибался: ведь за время нашего длительного знакомства все поступки ваши убеждали меня в том, что я имею дело с человеком рассудительным и благоразумным. Но теперь я вижу, что мое представление о вас так же далеко от истины, как небо от земли. В самом деле, как могло случиться, что столь незначительные и легко устранимые препятствия смутили и озадачили ваш зрелый ум, привыкший с честью выходить из более затруднительных положений? Ручаюсь, что дело тут не в неумении, а в избытке лени и в вялости мысли. Хотите, я вам докажу, что я прав? В таком случае слушайте меня внимательно, и вы увидите, как я в мгновение ока смету с вашего пути все преграды и восполню все пробелы, которые якобы смущают вас и повергают в такое уныние, что вы уже не решаетесь выпустить на свет божий повесть о славном вашем Дон Кихоте, светоче и зеркале всего странствующего рыцарства.

– Ну так объясните же, – выслушав его, вскричал я, – каким образом надеетесь вы извлечь меня из пучины страха и озарить хаос моего смятения?

На это он мне ответил так:

– Прежде всего у вас вышла заминка с сонетами, эпиграммами и похвальными стихами, которые вам хотелось бы поместить в начале книги и которые должны быть написаны особами важными и титулованными, – это уладить легко. Возьмите на себя труд и сочините их сами, а затем, окрестив, дайте им любые имена: пусть их усыновит – ну хоть пресвитер Иоанн Индийский или же император Трапезундский, о которых, сколько мне известно, сохранилось предание, что это были отменные стихотворцы. Если же дело обстоит иначе и если иные педанты и бакалавры станут шипеть и жалить вас исподтишка, то не принимайте этого близко к сердцу: ведь если даже вас и уличат во лжи, то руку, которою вы будете это писать, вам все-таки не отрубят.

Что касается ссылок на полях – ссылок на авторов и на те произведения, откуда вы позаимствуете для своей книги сентенции и изречения, то вам стоит лишь привести к месту такие сентенции и латинские поговорки, которые вы знаете наизусть, или по крайней мере такие, которые вам не составит труда отыскать, – так, например, заговорив о свободе и рабстве, вставьте:

Non bene pro toto libertas venditur auro¹

и тут же на полях отметьте, что это написал, положим, Гораций или кто-нибудь еще. Зайдет ли речь о всеильной смерти, спешите опереться на другую цитату:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
Regumque turres².

Зайдет ли речь о том, что господь заповедал хранить в сердце любовь и дружеское расположение к недругам нашим, – нимало не медля сошлитесь на Священное Писание, что доступно всякому мало-мальски сведущему человеку, и произнесите слова, сказанные не кем-либо, а самим господом богом: *Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros*³. Если о дурных помыслах – снова обратитесь к Евангелию: *De corde exeunt cogitationes malae*⁴. Если о непостоянстве друзей – к вашим услугам Катон со своим двустиишем:

Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris⁵.

И так благодаря латинщине и прочему тому подобному вы прослывете по меньшей мере грамматиком, а в наше время звание это приносит немалую известность и немалый доход.

Что касается примечаний в конце книги, то вы смело можете сделать так: если в вашей повести упоминается какой-нибудь великан, назовите его Голиафом, – вам это ничего не будет стоить, а между тем у вас уже готово обширное примечание в таком роде: *Великан Голиаф – филистимлянин, коего пастух Давид в Теревиндской долине поразил камнем из пращи, как о том повествуется в Книге Царств, в главе такой-то*.

Затем, если вы хотите сойти за человека, отлично разбирающегося в светских науках, а равно и за космографа, постарайтесь упомянуть в своей книге реку Тахо, – вот вам еще одно великолепное примечание, а именно: *Река Тахо названа так по имени одного из королей всех Испаний; берет начало там-то и, омывая стены славного города Лиссабона, впадает в Море-Океан; существует предположение, что на дне ее имеется золотой песок*, и так далее. Зайдет ли речь о ворах – я расскажу вам историю Кака, которую я знаю назубок; о падших ли женщинах – к вашим услугам епископ Мондоньедский: он предоставит в ваше распоряжение Ламию, Лаиду и Флору, ссылка же на него придаст вам немалый вес; о женщинах жестоких – Овидий преподнесет вам свою Медею; о волшебницах ли и колдуньях – у Гомера имеется для вас Калипсо, а у Вергилия – Цирцея; о храбрых ли полководцах – Юлий Цезарь в своих *Записках* предоставит в ваше распоряжение собственную свою персону, а Плутарх наградит вас тьмой Александров. Если речь зайдет о любви – зная два-три слова по-тоscanски, вы без труда сговоритесь со Львом Иудеем, а уж от него с пустыми руками вы не уйдете. Если же вам не захочется скитаться по чужим странам, то у себя дома вы найдете трактат Фонсеки *О любви к богу*, который и вас, и даже более искушенных в этой области читателей удовлетворит вполне. Итак, вам остается лишь упомянуть все эти имена и сослаться на те произведения, которые я вам назвал, примечания же и выноски поручите мне: клянусь, что поля вашей повести будут испещрены выносками, а примечания в конце книги займут несколько листов.

¹ Свободу не следует продавать ни за какие деньги (лат.).

² Бледная смерть стучится и в хижины бедняков, и в царские дворцы (лат.). Гораций, Сатм., кн. I, ода 4.

³ А я говорю вам: любите врагов ваших (лат.). Евангелие от Матфея, 5.

⁴ Из сердца исходят дурные помыслы (лат.). Евангелие от Матфея, 15.

⁵ Покуда ты будешь счастлив, тебя будут окружать многочисленные друзья, но когда наступят смутные дни, ты будешь одинок (лат.). – Стихи не Катона, а Овидия из сборника элегий «Скорби», кн. I, элегия VI.

Теперь перейдем к списку авторов, который во всех других книгах имеется и которого недостает вашей. Это беда поправимая: постарайтесь только отыскать книгу, к коей был бы приложен наиболее полный список, составленный, как вы говорите, в алфавитном порядке, и вот этот алфавитный указатель вставьте-ка в свою книгу. И если даже и выйдет наружу обман, ибо вряд ли вы в самом деле что-нибудь у этих авторов позаимствуете, то не придавайте этому значения: кто знает, может быть, и найдутся такие простаки, которые поверят, что вы и точно прибегали к этим авторам в своей простой и бесхитростной книге. Следственно, в крайнем случае, этот длиннейший список будет вам хоть тем полезен, что совершенно для вас неожиданно придаст книге вашей известную внушительность. К тому же вряд ли кто станет проверять, следовали вы кому-либо из этих авторов или не следовали, ибо никому от этого ни тепло ни холодно. Тем более что, сколько я понимаю, книга ваша не нуждается ни в одном из тех украшений, которых, как вам кажется, ей недостает, ибо вся она есть сплошное обличение рыцарских романов, а о них и не помышлял Аристотель, ничего не говорил Василий Великий и не имел ни малейшего представления Цицерон. Побасенки ее ничего общего не имеют ни с поисками непреложной истины, ни с наблюдениями астрологов; ей незачем прибегать ни к геометрическим измерениям, ни к способу опровержения доказательств, коим пользуется риторика; она ничего решительно не проповедует и не смешивает божеского с человеческим, какого смешения надлежит остерегаться всякому разумному христианину. Ваше дело подражать природе, ибо чем искуснее автор ей подражает, тем ближе к совершенству его писания. И коль скоро единственная цель вашего сочинения – свергнуть власть рыцарских романов и свести на нет широкое распространение, какое получили они в высшем обществе и у простолюдины, то и незачем вам выпрашивать у философов изречений, у Священного Писания – поучений, у поэтов – сказок, у риторов – речей, у святых – чудес; лучше позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были понятны, пристойны и правильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш период, затейливый и полнозвучный, с наивозможной и доступной вам простотою и живостью передавали то, что вы хотите сказать; выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла. Позаботьтесь также о том, чтобы, читая вашу повесть, меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее, простак не соскучился, разумный пришел в восторг от вашей выдумки, степенный не осудил ее, мудрый не мог не воздать ей хвалу. Одним словом, неустанно стремитесь к тому, чтобы разрушить шаткое сооружение рыцарских романов, ибо хотя у многих они вызывают отвращение, но сколько еще превозносят их! И если вы своего добьетесь, то знайте, что вами сделано немало.

С великим вниманием слушал я моего приятеля, и его слова так ярко запечатлелись в моей памяти, что, не вступая ни в какие пререкания, я тут же с ним согласился и из этих его рассуждений решил составить пролог, ты же, благосклонный читатель, можешь теперь судить об уме моего друга, поймешь, какая это была для меня удача – в трудную минуту найти такого советчика, и почувствуешь облегчение при мысли о том, что история славного Дон Кихота Ламанчского дойдет до тебя без всяких обиняков, во всей своей непосредственности, а ведь вся Монтельская округа говорит в один голос, что это был целомудреннейший из любовников и храбрейший из рыцарей, какие когда-либо в том краю появлялись. Однако ж, знакомя тебя с таким благородным и таким достойным рыцарем, я не собираюсь преувеличивать ценность своей услуги; я хочу одного – чтобы ты был признателен мне за знакомство с его славным оруженосцем Санчо Пансою, ибо, по моему мнению, я воплотил в нем все лучшие качества оруженосца, тогда как в ворохе бессодержательных рыцарских романов мелькают лишь разрозненные его черты. Засим молю бога, чтобы он и тебе послал здоровья и меня не оставил. Vale⁶.

⁶ Прощай (лат.).

НА КНИГУ О ДОН КИХОТЕ ЛАМАНЧСКОМ УРГАНДА НЕУЛОВИМАЯ

Если к людям мыслей здравых
Ты, о, книга, обратишься, —
То не ждут тебя укоры,
Что, мол, ерунду ты порешь;
Ну, а коль неосторожно
В руки дашься дуракам ты,
То они укоров много
Выскажут тебе нещадно,
Хоть старанья прилагают,
Чтоб казаться мудрецами.

Знаем мы: пышнее крона
Древа, что цветет на солнце, —
Больше тени даст в жару нам.
Отправляйся же ты в Бехар:
Царственное древо есть там, —
Не плоды дает, а принцев!
И меж них блистает герцог, —
Тот, что равен Александру.
Ты при нем ищи приюта, —
Любит смельчаков удача!

Ты поведай о деяньях
Дворянина из Ламанчи,
У кого от глупых книжек
Вовсе разум помутился, —
Дамы, рыцари, турниры, —
Лишь о них одних и думал,
И с Неистовым Роландом
Стал равнять себя: влюбленный,
Храбростью дерзал добиться
Дульсинеи он Тобосской.

Ты не украшай обложку
Авторским гербом, о, книга:
Карта лишняя частенько
Комбинацию лишь губит.
Предисловье красит скромность,
Пусть об авторе не судят:
«Мол, равняться с Ганнибалом
Вздумал, с Альваро де Луной
Или с королем Франсиско,
Жребий пленника клянушим!»

Раз не столь учен твой автор,
Как Хуан Латино мудрый,
Мавр, умом своим известный, —
Не срамись латынью скверной, —
Чего нет, тем не гордися.
И цитат не измышляй ты,
А не то прочтет, кто знает,
Ложь твою раскроет живо
И воскликнет, позабавлен:
«Что ж ты врешь напропалую?»

В описаньях не усердствуй,
В душу лезть не смей героям:
Путь души тернист, извилист, —
В кровь на нем собьешь лишь ноги.
Избегай острить чрезмерно, —
Остроумцев бьют нещадно, —
Но старайся повсечасно
Доброй ты добиться славы.
Помни: коли глуп писатель,
Ждут его одни насмешки!

Помни: коли самолично
Ты живешь в стеклянном доме,
Глупо было бы камнями
Разбивать соседям окна,
Ведь хороший сочинитель
Скромнен, сдержан и разумен, —
Ну, а тот, кто лишь напрасно
Портит бедную бумагу,
Чтоб кухонных девок тешить,
Пишет, что да как попало!

Амадис Галльский Дон Кихоту Ламанчскому СОНЕТ

Ты, который знает ад в сиянье рая,
Что познал и сам я в скорбный час, влюбленный
И с предметом страсти злобно разлученный,
Над Стремниной Бедной слезы проливая, —

Хлад и зной терпевший, сердцем уповая,
Утолявший жажду влагой слез соленой,
Облачен в лохмотья, златом обделенный,
Ел плоды и злаки, их с земли собирая, —

Обретя бессмертье, проживешь отныне,

Сколь по тропам горним гнать упорно будет
Резвую четверку Феб прекраснокудрый.

Пусть тебя отважным называют люди,
Пусть твоя держава превзойдет иные,
И затмит всех прочих твой создатель мудрый!

**Дон Бельянис Греческий
Дон Кихоту Ламанчскому
СОНЕТ**

Мечом сражал я и копьем крушил,
Всех странствующих рыцарей затмил я,
К добру и правде устремляя силы,
Непобедим на поле бранном был.

Как карликов, я великанов бил,
В бою с врагами не щадил усилий,
Хранил в душе прекрасный образ милой
И, честь блюдя, поверженных щадил.

Влеклась за мной судьба рабою верной,
Я шел вперед, на случай уповая,
Фортуна, рок, – все были мне друзья.

Но, хоть взлелеян славой беспримерной,
Внесенной выше лунного серпа я,
К тебе, Кихот, питаю зависть я!

**Сеньора Ориана Дульсинее Тобосской
СОНЕТ**

О, если бы мой Мирафлорес смел
В Тобосо, Дульсиня, вдруг явиться,
А Лондон – в дом твой скромный обратиться,
Как я бы восхваляла мой удел!

О, поменять бы облик наших тел,
На день один тобою воплотиться —
И рыцарем отважнейшим гордиться,
Что в честь мою спешит на подвиг, смел!

Страсть друга не ценя превыше чести,
Бежала б я, как Дон Кихота – ты,

И девичью невинность сберегла я, —

И, недоступна зависти и лести,
Царила б я в блаженстве чистоты
И ныне не скорбела бы, страдая.

**ГАНДАЛИН, ОРУЖЕНОСЕЦ АМАДИСА
ГАЛЛЬСКОГО, САНЧО ПАНСЕ,
ОРУЖЕНОСЦУ ДОН КИХОТА
СОНЕТ**

О, славный муж! Высокою судьбой
Ты, рыцарю служить благословенный,
Сей жребий принял мирно и степенно,
Не встретив въяве схватки грозовой!

Серпом, мотыгой век ты мерил свой,
Но в путь, в свой час, отправился смиренно —
И посрамил отвагой отрешенной
Всех тех, кто на словах лишь горд собой.

Твой тучен зад. В суме чересседельной
Полно еды. Осел твой миловиден, —
О, как тебе завидую я глухо...

Вперед же, Санчо, к славе беспредельной, —
Такой, что сам испанский наш Овидий
Тебя почтит приятельскою плюхой!

**Балагур, празднословный
виршеплет, Санчо Пансе и Росинанту
Санчо Пансе**

Санчо я, оруженосец,
Что с Кихотом из Ламанчи,
Возмечтав о лучшей доле,
Вольно странствовать пустился, —
А уж, коль припрет, дать деру
Смог, скажу тихонько, даже
Вильядьего бесхребетный,
Как о том и говорится
В «Селестине» – книге славной,
Хоть и чуть солоноватой.

Росинанту

Гордый правнук я Бабьеки,
Росинант дано мне имя.
В услуженье Дон Кихоту
Был я тощ, как мой хозяин,
Но, хоть тих на вид, заморен, —
А овса умел потырить
Незаметно, как когда-то,
Чрез соломинку пустую,
Выдул у слепца винишко
Ласарильо хитроумный.

Неистовый Роланд Дон Кихоту Ламанчскому СОНЕТ

Двенадцать было нас, но ты, герой,
Затмил нас всех, – пусть не носил короны, —
Отвагою своей непревзойденной,
Числом побед и чести чистотой.

Сведен с ума Анжелики красой,
Я, сир Роланд, герой непокоренный,
Деяньями потряс мир изумленный,
Навек оставшись в памяти людской.

Меня ты превзошел великой славой, —
Склоняюсь скромно пред достойным мужем, —
Хотя в безумье схожи мы с тобой;

Тобою сокрушен и мавр кровавый,
И турок злой, – и оба мы, к тому же,
Обделены любовью земной.

Рыцарь Феба Дон Кихоту Ламанчскому СОНЕТ

Учтивый муж, цари на поле бранном,
Ведь подвиги мои твои затмили!
Мы храбростью равны, но рыцарь странный,
Испанский Феб меня превысил силой.

Сулили мне короны, царства, страны,

Молили: правь над нами, рыцарь милый!
Все я отринул ради Клариद्याны,
В красу ее влюбившись до могилы.

Утратив разум, я, в разлуке с нею,
Играл со смертью так, что ад, поверьте,
Дрожал, когда я пир кровавый правил.

А ты, Кихот, любовью к Дульсинее
И собственное имя обессмертил,
И образ той, кого любил, прославил!

Солисдан Дон Кихоту Ламанчскому СОНЕТ

Хотя, сеньор достойный Дон Кихот,
У вас от книг сознание помутнело,
Но и завистник самый оголтелый
Пятна на вашей чести не найдет.

Вы, подвигам своим теряя счет,
С несправедливым злом сражались смело,
Хотя не раз бивал за это дело
И брал вас в плен тупой и пошлый сброд.

И ежели красotka Дульсиней,
Вас прогнала жестоко и постыдно,
Не оценивши верности прекрасной,

Утештесь: да глупа она, Бог с нею,
И сват из Санчо Пансы незавидный,
И сами вы – жених не слишком страстный.

Диалог Бабьеки и Росинанта Сонет

Б. Эй, Росинант, что ты так тонкотел?
Р. Легко ль коню голодному, больному?
Б. Где ж твой овес, где сытная солома?
Р. Их мой хозяин сам на завтрак съел.
Б. Осел, кто на хозяина посмел
Взводить поклеп, тем честь позоря дома!
Р. Хозяин фору даст ослу любому:
Влюбился – и рассудком оскудел.
Б. Любовь – безумье? Р. Нет, гораздо хуже!

Б. Умно! Р. Еще бы, – голод учит жить.
Б. К хозяину ступай с мольбой горячей.
Р. К кому ж идти мне с жалобой досужей?
Ведь конюх мой, коль правду говорить,
Да и хозяин, – жалкие две клячи!

Глава I,

повествующая о нраве и образе жизни славного идалго Дон Кихота Ламанчского

В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идалго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Оля чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, в виде добавочного блюда, по воскресеньям, – все это поглощало три четверти его доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна полукафтанье, бархатные штаны и такие же туфли, что составляло праздничный его наряд, а в будни он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, коей перевалило за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошадь седлать, и с садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего идалго приближался к пятидесяти годам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные – Кесада. В сем случае авторы, писавшие о нем, расходятся; однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения; важно, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины.

Надобно знать, что вышеупомянутый идалго в часы досуга, – а досуг длился у него чуть ли не весь год, – отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать; больше же всего любил он сочинения знаменитого Фелисьяно де Сильва, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочесть: «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, такое: «...всемогущие небеса, при помощи звезд божественно возвышающие вашу божественность, содействуют вас достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро ломал себе голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться до их смысла, хотя сам Аристотель, если б он нарочно для этого воскрес, не распутал бы их и не понял. Не лучше обстояло дело и с теми ударами, которые наносил и получал дон Бельянис, ибо ему казалось, что, какое бы великое искусство ни выказали пользовавшие рыцаря врачи, лицо его и все тело должны были быть в рубцах и отметилах. Все же он одобрял автора за то, что тот закончил свою книгу обещанием продолжить длиннейшую эту историю, и у него самого не раз являлось желание взяться за перо и дописать за автора конец; и так бы он, вне всякого сомнения, и поступил и отлично справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечасные помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священником, – человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе, – о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский или же Амадис Галльский. Однако маэсе Николас, цирюльник из того же села, утверждал, что им обоим далеко до Рыцаря Феба и что если кто и может с ним сравниться, так это дон Галаор, брат Амадиса Галльского, ибо он всем взял; он не ломака и не такой плакса, как его брат, в молодечестве же нисколько ему не уступит.

Одним словом, идалго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено

всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой; и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц – истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного. Он говорил, что Сид Руй Диас очень хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух свирепых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочтение Бернардо дель Карпыю оттого, что тот, прибегнув к хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли – Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда. С большой похвалой отзывался он о Морганте, который хотя и происходил из надменного и дерзкого рода великанов, однако ж, единственный из всех, отличался любезностью и отменной учтивостью. Но никем он так не восхищался, как Ринальдом Монтальванским, особенно когда тот, выехав из замка, грабил всех, кто только попадался ему на пути, или, очутившись за морем, похищал истукан Магомета – весь как есть золотой, по уверению автора. А за то, чтобы отколотить изменника Ганелона, наш идалго отдал бы свою ключницу, да еще и племянницу в придачу.

И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием в руках отправившись на поиски приключений, начать заниматься тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странствующие рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои подвиги, по малой мере, короной Трапезундского царства; и, весь отдавшись во власть столь отраднх мечтаний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих стремлений. Первым делом принялся он за чистку принадлежавших его предкам доспехов, некогда сваленных как попало в угол и покрывшихся ржавчиной и плесенью. Когда же он с крайним тщанием вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он обнаружил обыкновенный шишак; но тут ему пришла на выручку его изобретательность: смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь испытать его прочность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то первым же ударом в одно мгновение уничтожил труд целой недели; легкость же, с какою забрало разлетелось на куски, особого удовольствия ему не доставила, и, чтобы предотвратить подобную опасность, он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки, так что в конце концов остался доволен его прочностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, признал его вполне годным к употреблению и решил, что это настоящий шлем с забралом удивительно тонкой работы.

Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала на все четыре ноги и недостатков у нее было больше, чем у лошади Гонеллы, которая *tantum pellis et ossa fuit*⁷, нашел, что ни Буцефал Александра Македонского, ни Бабьека Сиды не могли бы с нею тягаться. Несколько дней раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он себе, коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню, нельзя не дать какого-нибудь достойного имени. Наш идалго твердо держался того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, то и конь должен переменить имя и получить новое, славное и громкое, соответствующее новому сану и новому поприщу хозяина; вот он и старался найти такое, которое само показывало бы, что представлял собой этот конь до того, как стал конем странствующего рыцаря, и что он собой представляет теперь; итак, он долго придумывал разные имена, роясь в памяти и напрягая воображение, –

⁷ Была только кожа да кости (лат.). – Слова из комедии Плавта «Горшок», акт. III, сц. 6.

отвергал, отметал, переделывал, пускал насмарку, сызнова принимался составлять, — и в конце концов остановился на *Росинанте*, имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняющем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире.

Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще неделю, назвался наконец *Дон Кихотом*, — отсюда, повторяем, и сделали вывод авторы правдивой этой истории, что настоящая его фамилия, вне всякого сомнения, была Кихада, а вовсе не Кесада, как уверяли иные. Вспомнив, однако ж, что доблестный Амадис не пожелал именоваться просто Амадисом, но присовокупил к этому имени название своего королевства и отечества, дабы тем прославить его, и назвался Амадисом Галльским, решил он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовокупить к своему имени название своей родины и стать *Дон Кихотом Ламанчским*, чем, по его мнению, он сразу даст понять, из какого он рода и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне.

Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий шлем, выбрав имя для своей лошаденки и окрестив самого себя, он пришел к заключению, что ему остается лишь найти даму, в которую он мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без любви — это все равно что дерево без плодов и листьев или же тело без души.

— Если в наказание за мои грехи или же на мое счастье, — говорил он себе, — встретится мне где-нибудь один из тех великанов, с коими странствующие рыцари встречаются нередко, и я сокрошу его при первой же стычке, или разрублю пополам, или, наконец, одолев, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар, с тем чтобы он, войдя, пал пред моею кроткою госпожою на колени и покорно и смиренно молвил: «Сеньора! Я — великан Каракульямбр, правитель острова Малиндрании, побежденный на поединке неопределенным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, который и велел мне явиться к вашей милости, дабы ваше величие располагало мной по своему благоусмотрению»?

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, особенно же когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то же время напоминало и приближалось бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, положил он назвать ее *Дульсинеей Тобосскою*, — ибо родом она была из Тобосо, — именем, по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее придуманные им имена.

Глава II,

повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота из его владений

Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идалго решил тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить! И вот, чуть свет, в один из июльских дней, обещавший быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем намерении и оставшись незамеченным, облачился он во все свои доспехи, сел на Росинанта, кое-как приладил нескладный свой шлем, взял щит, прихватил копье и, безмерно счастливый и довольный тем, что никто не помешал ему приступить к исполнению благих его желаний, через ворота скотного двора выехал в поле. Но как скоро он очутился за воротами, в голову ему пришла страшная мысль, до того страшная, что он уже готов был отказаться от задуманного предприятия, и вот почему: он вспомнил, что еще не посвящен в рыцари и что, следственно, по законам рыцарства, ему нельзя и не должно вступать в бой ни с одним рыцарем; а если б даже и был посвящен, то ему как новичку подобает носить белые доспехи, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит его своею храбростью. Эти размышления поколебали его решимость; однако ж безумие взяло верх над всеми доводами, и по примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых романах, что довели его до такого состояния, вознамерился он обратиться с просьбой о посвящении к первому встречному. Что же касается белых доспехов, то он дал себе слово на досуге так начистить свои латы, чтобы они казались белее горноста, и, порешив на том, продолжал свой путь, – вернее, путь, который избрал его конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать приключений.

Ехал путем-дорогой наш новоявленный рыцарь и сам с собой рассуждал:

– Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих славных деяниях, и тот ученый муж, который станет их описывать, дойдя до первого моего и столь раннего выезда, вне всякого сомнения, начнет свой рассказ так: «Златокудрый Феб только еще распускал по лицу широкой и просторной земли светлые нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали румяную Аврору, покинувшую мягкое ложе ревнивого супруга, распахнувшую врата и окна ламанчского горизонта и обратившую взор на смертных, когда славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по древней и знаменитой Монтельской равнине».

В самом деле, именно по этой равнине он и ехал.

– Блаженны времена и блажен тот век, – продолжал он, – когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть вычеканенными на меди, высеченными на мраморе и изображенными на полотне в назидание потомкам! Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем необычайных моих приключений, молю: не забудь доброго Росинанта, вечного моего спутника, странствующего вместе со мною по всем дорогам.

Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен:

– О принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, покоренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав упреками, изгнали меня и в порыве гнева велели не показываться на глаза красоте вашей! Заклинаю вас, сеньора: сжальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайшие терпит муки!

На эти нелепости он нагромождал другие, точь-в-точь как в его любимых романах, стараясь при этом по мере возможности подражать их слогу, и оттого ехал так медленно, солнце же стояло теперь так высоко и столь нещадно палило, что если б в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо.

В сущности, за весь этот день с ним не произошло ничего, о чем следовало бы рассказать, и он уже приходил в отчаяние, ибо ему хотелось как можно скорее встретиться с кем-нибудь таким, на ком он мог бы проявить свою мощь. Одни авторы первым его приключением считают случай, происшедший в Ущелье Лписе, другие – случай с ветряными мельницами, – то же, что удалось установить мне и чему я нашел подтверждение в летописях Ламанчи, сводится к следующему. Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к вечеру он и его кляча устали и сильно проголодались; тогда, оглядевшись по сторонам в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть шалаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и расправить усталые члены, заметил он неподалеку от дороги постоялый двор, и этот постоялый двор показался ему звездой, которая должна привести его не к преддверию храма спасения, а прямо в самый храм. Он тронул поводья и подъехал к постоялому двору, как раз когда стало смеркаться.

Случайно за ворота постоялого двора вышли две незамужние женщины из числа тех, что, как говорится, ходят по рукам; вместе с погонщиками мулов они держали путь в Севилью, но те порешили здесь заночевать; а как нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается по образу и подобию вычитанного им в книгах, то, увидев постоялый двор, он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпильями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом – словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. В нескольких шагах от постоялого двора, или мнимого замка, он натянул поводья и остановился в ожидании, что вот сейчас между зубцов покажется карлик и, возвещая о прибытии рыцаря, затрубит в трубу. Но карлик медлил, Росинанту же не терпелось пробраться в стойло; тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев двух гулящих бабенок, решил, что подле замка резвятся не то прекрасные девы, не то прелестные дамы. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время какой-то свинопас, сгоняя со жнивья стадо свиней, – прошу меня извинить, но другого названия у этих животных нет, – затрубил в рожок, по каковому знаку те имеют обыкновение сбегаться, и тут Дон Кихот, вообразив, что чаемое им свершилось, – а именно, что карлик возвестил о его прибытии, – не помня себя от радости направился к дамам, но дамы, к ужасу своему заметив, что к ним приближается всадник, облаченный в столь диковинные доспехи, со щитом и копьем, бросились наутек; тогда Дон Кихот, догадавшись, что это он испугал их, поднял картонное забрало, скрывавшее худое и запыленное его лицо, и с самым приветливым видом спокойно проговорил:

– Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь ничего, ибо рыцарям того ордена, к которому я принадлежу, не пристало и не подобает чинить обиды кому бы то ни было, а тем паче столь знатным, судя по вашему виду, девицам.

Бабенки воззрились на незнакомца, пытаясь разглядеть его лицо, на которое опять сползло дрянное забрало, но, услышав, что он величает их девицами, каковое наименование отнюдь не соответствовало их роду занятий, принялись хохотать, да так, что Дон Кихот почувствовал себя неловко.

– Красоте приличествует степенность, – сказал он, – беспричинный же смех есть признак весьма недалекого ума. Впрочем, все это я говорю не для того, чтобы оскорбить вас или же привести в дурное расположение духа, ибо я со своей стороны расположен лишь к тому, чтобы служить вам.

Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, не привычная для слуха обеих дам, и неказистая его наружность все больше и больше смешили их, Дон Кихот же все пуще гневался, и неизвестно, чем бы это кончилось, если б в это самое время не подоспел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный и оттого весьма добродушный, но даже и он, увидев перед собой нелепую фигуру и все эти разнородные предметы, как то: тяжеловесное копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился к

развеселившимися девицам. Однако ж, уstraшенный этою грудю доспехов, рассудил за благо быть с незнакомцем полюбезнее и обратился к нему с такими словами:

– Коли ваша милость, сеньор кавальеро, ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровати, – кровати, правда, у меня нет ни одной, – зато все остальное имеется в изобилии.

Почтительный тон коменданта, – надобно заметить, что хозяина наш рыцарь принял за коменданта, а постоянный двор за крепость, – умиротворил Дон Кихота.

– Я всем буду доволен, сеньор кастелян, – сказал он, – ибо *мой наряд – мои доспехи, в лютой битве мой покой* и так далее.

Хозяин подумал, что тот принял его за честного кастильца и потому назвал кастеляном, на самом же деле он был андалусец, да еще из Сан Лукара, и в жульничестве не уступал самому Каку, а в плутовстве – школярам и слугам.

– Стало быть, – подхватил он, – *ложе вашей милости – твердый камень, бденье до зари – ваш сон*. А коли так, то вы смело можете здесь остановиться: уверяю вас, что в этой лачуге вы найдете сколько угодно поводов не то что одну ночь – весь год не смыкать глаз.

С этими словами хозяин ухватился за стремя, и Дон Кихот спешил, хотя это стоило ему немалых трудов и усилий, оттого что он целый день постился.

Затем он попросил хозяина не оставить своими заботами и попечениями его коня, ибо, по его словам, то было лучшее из травоядных. Хозяин, взглянув на Росинанта, не обнаружил и половины тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот, однако ж отвел коня в стойло и тотчас вернулся узнать, не нужно ли чего-нибудь гостю; с гостя же успевшие с ним помириться девы снимали доспехи, причем снять нагрудник и наплечье им удалось, а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к коему были пришиты зеленые ленты, они так и не сумели; по-настоящему следовало разрезать ленты, ибо развязать узлы девицам оказалось не под силу, но Дон Кихот ни за что на это не согласился и так потом до самого утра и проходил в шлеме, являя собою нечто в высшей степени странное и забавное, и пока девки снимали с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, обитательницы замка, с великою приятностью читал им стихи:

Был радушным и учтивым
Тот прием, что встретил рыцарь
Дон Кихот у дам прелестных,
Из земель приехав дальних.
Фрейлины ему служили,
А коню его – дуэньи,

то есть Росинанту, ибо так зовут моего коня, сеньоры, меня же зовут Дон Кихот Ламанчский, и хотя я должен был бы поведать вам свое имя не прежде, чем его поведают подвиги, которые я намерен совершить, дабы послужить вам и быть вам полезным, однако ж соблазн применить старинный романс о Ланцелоте к нынешним обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я таков, раньше времени. Впрочем, настанет пора, когда ваши светлости будут мною повелевать, я же буду вам повиноваться, и доблестная моя длань поведает о моей готовности служить вам.

Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике, хранили молчание; они лишь осведомились, не желает ли он покушать.

– Вкусить чего-либо я не прочь, – отвечал Дон Кихот, – и, сдается мне, это было бы весьма кстати.

Дело, как нарочно, происходило в пятницу, и на всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески, которую в Кастилии называют абадехо, в Андалусии – бакальяо, в иных местах – курадилльо, в иных – форелькой. Дон Кихота спросили, не угодно ли его милости, за неимением другой рыбы, отведасть *форелек*.

– Побольше бы этих самых *форелек*, тогда они заменят одну форель, – рассудил Дон Кихот, – ибо не все ли равно, дадут мне восемь реалов мелочью или же одну монету в восемь реалов? Притом очень может быть, что *форелька* настолько же нежнее форели, насколько телятина нежнее говядины, а молодой козленок нежнее козла. Как бы то ни было, несите их скорей: ведь если не удовлетворить настойчивой потребности желудка, то и бремени трудов, а равно и тяжелых доспехов на себе не потащишь.

Стол поставили у ворот, прямо на свежем воздухе, а затем хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и еще хуже приготовленной трески и кусок хлеба, не менее черного и не менее заплесневелого, чем его доспехи. И как же тут было не рассмеяться, глядя на Дон Кихота, который, наотрез отказавшись снять шлем с поднятым забралом, не мог из-за этого поднести ко рту ни одного куса! Надлежало кому-нибудь другому ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обязанность приняла на себя одна из дам. А уж напоить его не было никакой возможности, и так бы он и не напился, если б хозяин не провертел в тростинке дырочку и не вставил один конец ему в рот, а в другой не принялся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно терпел все эти неудобства. В это время на постоялый двор случилось зайти коновалу, собиравшемуся холостить поросят, и, войдя, он несколько раз дунул в свою свистульку, после чего Дон Кихот совершенно уверился, что находится в некоем славном замке, что на пиру в его честь играет музыка, что треска – форель, что хлеб – из белоснежной муки, что непотребные девки – дамы, что хозяин постоялого двора – владелец замка, и первый его выезд, равно как и самая мысль пуститься в странствия, показались ему на редкость удачными. Одно лишь смущало его – то, что он еще не посвящен в рыцари, а кто не принадлежал к какому-нибудь рыцарскому ордену, тот, по его мнению, не имел права искать приключений.

Глава III,

в коей рассказывается о том, каким забавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари

Преследуемый этою мыслью, Дон Кихот, быстро покончив со своим скудным трактирным ужином, подозвал хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и сказал:

– Доблестный рыцарь! Я не двинусь с места до тех пор, пока ваша любезность не соизволит исполнить мою просьбу, – исполнение же того, о чем я прошу, покроет вас неувядаемою славой, а также послужит на пользу всему человеческому роду.

Увидев, что гость опустился перед ним на колени, и услышав такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что делать и что говорить, а затем стал убеждать его подняться с колен, но тот поднялся лишь после того, как хозяин дал слово исполнить его просьбу.

– Меньшого, государь мой, я и не ожидал от вашего несказанного великодушия, – заметил Дон Кихот. – Итак, да будет вам известно, что просьба, с которой я к вам обратился и которую ваше человеколюбие обещало исполнить, состоит в том, чтобы завтра утром вы посвятили меня в рыцари; ночь я проведу в часовне вашего замка, в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства, а также долг рыцаря странствующего, каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к совершению указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи, как мы уже говорили, изрядною шельмой, отчасти догадывался, что гость не в своем уме, – при этих же словах он совершенно в том уверился и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее: намерение-де его и просьба более чем разумны, и вполне естественно и законно, что у такого знатного, сколько можно судить по его наружности и горделивой осанке, рыцаря явилось подобное желание; да и он, хозяин, в молодости сам предавался этому почтенному занятию: бродил по разным странам и, в поисках приключений неукоснительно заглядывая в Перчелес под Малагой, на Риаранские острова, в севильский Компас, сеговийский Асогехо, валенсийскую Оливеру, гранадскую Рондилью, на набережную в Сан Лукаре, в кордовский Потро, толедские игорные притоны и еще кое-куда, развивал проворство ног и ловкость рук, проявлял необычайную шkodливость, не давал проходу вдовушкам, соблазнял девиц, совращал малолетних, так что слава его гремела по всем испанским судам и судилищам; под конец же удалился на покой в этот свой замок, где и живет на свой и на чужой счет, принимая у себя всех странствующих рыцарей, независимо от их звания и состояния, исключительно из особой любви к ним и с условием, чтобы в благодарность за его гостеприимство они делились с ним своим достоянием. К этому хозяин прибавил, что у него в замке нет часовни, где бы можно было бодрствовать над оружием, ибо старую он снес, дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием дозволяется где угодно, так что Дон Кихот может провести эту ночь на дворе, а завтра, бог даст, все приличествующие случаю церемонии будут совершены и он станет настоящим рыцарем, да еще таким, какого свет не производил.

Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги; тот ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе деньги. На это хозяин сказал, что он ошибается; что хотя в романах о том и не пишется, ибо авторы не почитают за нужное упоминать о таких простых и необходимых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, однако ж из этого вовсе не следует, что у рыцарей ни того, ни другого не было; напротив, ему доподлинно и точно известно, что у всех этих странствующих рыцарей, о которых насочиняли столько романов, кошельки на всякий случай были туго набиты; брали они с собой и чистые сорочки, а также баночки с мазью,

коей врачевали они свои раны: ведь не всегда же в полях и в пустынях, где они сражались и где им наносили раны, был у них под рукой лекарь, разве уж кто-нибудь из них водил дружбу с мудрым волшебником, который немедленно сажал на облако и направлял к нему по воздуху какую-нибудь девицу или же карлика с пузырьком воды столь целебного свойства, что стоило рыцарю выпить несколько капель – и всех его язв и ран как не бывало; при отсутствии же такого рода помощи прежние рыцари полагали благоразумным позаботиться о том, чтобы их оруженосцы были наделены деньгами и прочими необходимыми вещами, как то: корпией и лечебными мазями; а у кого из рыцарей почему-либо оруженосца не было, – случай редкий, можно сказать, исключительный, – те сами возили все это в крошечных сумочках, которые они привязывали к лошадиному крупу и, словно некую драгоценность, старались как можно лучше спрятать; впрочем, обычай возить с собою сумочки не принадлежал к числу наиболее распространенных среди странствующих рыцарей. В заключение хозяин посоветовал Дон Кихоту, – хотя, в сущности, он имел право приказывать ему, ибо тот в ближайшем будущем должен был стать его крестником, – впредь без денег и упомянутых снадобий в путь не пускаться: он сам, дескать, увидит, что в один прекрасный день они ему пригодятся.

Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием; он собрал свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед; и только он начал прогуливаться, как наступила ночь.

Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали, а Дон Кихот между тем то чинно прохаживался, то, опершись на копье, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коему он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря; и, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом:

– Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом! Помысли о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью заплатишься ты за свою продерзость!

Погонщик и в ус себе не дул, – а между тем лучше было бы, если бы он дул: по крайности его самого тогда бы не вздули, – он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому, обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсине, сказал:

– Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу – вашему верноподданному. Ныне предстоит мне первое испытание – не лишайте же меня защиты своей и покрова.

Продолжая звать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво, так что если б за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и, как ни в чем не бывало, снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, – ибо тот все еще лежал без чувств, – вздумал напоить мулов, но как скоро приблизился он к водопойной колоде и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова отложил в сторону щит, снова

поднял копье и так хватил второго погонщика, что не копье разлетелось на куски, но череп погонщика раскололся даже не на три, а на четыре части. На шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одною рукой схватив щит, а другою придерживая меч, воскликнул:

– О царица красоты, сила и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность!

Тут он ощутил в себе такую решимость, что, если б сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом камней, – тот по мере возможности закрывался щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцаря: ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедший, а с сумасшедшего, хоть бы он тут всех переколотил, взятки гладки. Но Дон Кихот кричал еще громче: погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка – за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали, – малодушным и неучтивым кавальеро, да еще прибавил, что если б он, Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство.

– А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все, что хотите, – сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наглость.

В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недругов напал необоримый страх; и, отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принялся охранять доспехи.

Хозяину надоели выходки гостя, и, чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в том, что этот подлый народ без его ведома так дерзко с ним обошелся, и обещал строго наказать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала: сколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине, вот, мол, и вся хитрость, а это и среди поля с успехом можно проделать; что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагается всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более четырех. Дон Кихот всему этому поверил; он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых – впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбежал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и двумя помянутыми девицами подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колена, сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил треснул его по затылку, а затем, все еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из шлюх препоясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность: в самом деле, немалое искусство требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха; впрочем, при одном воспоминании о недавних подвигах новонареченного рыцаря смех невольно замирал на устах у присутствовавших.

– Да поможет бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей и да ниспошлет он вам удачу во всех сражениях! – препоясывая его мечом, молвила почтенная сеньора.

Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблестною своею дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, ныне проживающего в торговых рядах Санчо Бьенайи, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно: из любви к нему прибавить к своей фамилии *донья* и впредь именоваться *доньей* Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с нею он повел почти такую же речь, как и с той, что препоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут, она же ответила, что ее зовут Ветрогона и что она дочь почтенного антекерского мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии *донья* и впредь именоваться *доньей* Ветрогоною.

Дон Кихот не чаял, как дожидаться минуты, когда можно будет снова сесть на коня и отправиться на поиски приключений, и, после того как были закончены все эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такою быстротою и поспешностью, он тот же час оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъяснил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.

Глава IV

О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал с постоялого двора

Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подсакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, положил он возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым, главное – деньгами и сорочками; в оруженосцы же себе прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для таковых обязанностей как нельзя более подходившего. С этою целью он поворотил Росинанта в сторону своего села, и Росинант, словно почуяв родное стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто копыта его не касаются земли.

Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чащи леса, до него донеслись тихие жалобы, точно кто-то стонал, и, едва заслышав их, он тотчас воскликнул:

– Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, – за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающиеся в помощи моей и защите.

С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав же несколько шагов по лесу, увидел он кобылу, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати, и вот этот-то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками и нравоучениями.

– Смотри в оба, а язык держи за зубами, – приговаривал он.

А мальчуган причитал:

– Больше не буду, хозяин, Христом богом клянусь, не буду, обещаю вам глаз не спускать со стада!

Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул:

– Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копьё, – надобно заметить, что у сельчанина тоже было копьё: он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана кобыла, – и я вам докажу всю низость вашего поступка.

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспехами фигуру, перед самым его носом размахивающую копьём, подумал, что пришла его смерть.

– Сеньор кавальеро! – вкрадчивым голосом заговорил он. – Я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет здесь отару моих овец; из-за этого ротозея я каждый день недосчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее, за плутовство, а он говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь богом и спасением души, что он врет.

– Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет? – воскликнул рыцарь. – Клянусь солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьём проткну вас насквозь. Без всяких разговоров уплатите ему, не то, да будет мне свидетелем всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понутив голову, молча отвязал своего слугу; тогда Дон Кихот спросил мальчишка, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, чтоб он немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сельчанин ответил так: он, дескать, уже клялся, – хотя до сих пор об этом не было и речи, – и теперь говорит, как на духу, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит

принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех пар обуви, которые износил пастух, да еще один реал за два кровопускания, которые были ему сделаны, когда он занемог.

– Это все так, – возразил Дон Кихот, – однако вы ни за что ни про что отхлестали его ремнем, – пусть же это пойдет в уплату за обувь и кровопускания: ведь если он порвал кожу на башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете.

– Беда в том, сеньор кавальеро, что я не взял с собой денег, – придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до последнего реала.

– Чтобы я с ним пошел? – воскликнул мальчуган. – Час от часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете. Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу, вроде как со святого Варфоломея или с кого-то там еще.

– Он этого не сделает, – возразил Дон Кихот, – я ему прикажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит, и я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе заплатит.

– Помилуйте, сеньор, что вы говорите! – воскликнул мальчуган. – Мой хозяин – вовсе не рыцарь, и ни к какому рыцарскому ордену он не принадлежит, – это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинтанар.

– Это ничего не значит, – возразил Дон Кихот, – и Альдудо могут быть рыцарями. Тем более что каждого человека должно судить по его делам.

– Это верно, – согласился Андрес, – но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалованье, которое я заработал в поте лица?

– Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? – снова заговорил сельчанин. – Сделай милость, пойдем со мной, – клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью уплачу.

– Можно и без радости, – сказал Дон Кихот, – уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали: это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь тою же самою клятвою, я разыщу вас и накажу: будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я – доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных, засим оставайтесь с богом и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою.

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рошу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал:

– Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг.

– Я в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость, – заметил Андрес. – В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячу лет; он такой храбрый и такой справедливый, что, если вы мне не уплатите, клянусь святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение.

– Я тоже в этом не сомневаюсь, – сказал сельчанин, – но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить.

Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив.

– Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес, посмотрим, как он за вас заступится, – сказал сельчанин. – Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел, – у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались.

Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего судьи, дабы тот претворил в жизнь вынесенное им решение. Пастушонок с кислой миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанчского и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и вполголоса говорил:

– По праву можешь ты именоваться счастливейшею из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц красавица Дульсинья Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда, – ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока.

Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать; и в подражание им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта, Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа: как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение; между тем он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стремянах, сжал в руке копье, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал толедских купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге; когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:

– Все, сколько вас ни есть, – ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинья Тобосская!

При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились; и хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако ж им захотелось вывести у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался, и тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил:

– Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину.

– Если я вам ее покажу, – возразил Дон Кихот, – то что вам будет стоять засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту, а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верные дурной своей привычке, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор.

– Сеньор кавальеро! – снова заговорил купец. – От имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой: чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слышали, и вдобавок не унижить подобным свидетельством императриц и королев алькаррийских и эстремадурских, будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно: ведь по щетинке узнается свинка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею, и если б даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочится киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства.

– Ничего такого у нее не сочится, подлая тварь! – пылая гневом, вскричал Дон Кихот. – Ничего такого у нее не сочится, говорю я, – это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадаррамы. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы.

С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону; хотел встать – и не мог: копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал:

– Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня.

Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика и уговаривали оставить кавальеро в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор не прекращать игры, пока не истощится весь его гнев; он хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле, – рыцарь же, между тем как на него все еще сыпался град палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов.

Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путешествия запасшись пищею для разговоров, каковою должен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать; но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив, – он полагал, что это обычное злключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был его конь. Вот только он никакими силами не мог встать, – уж очень болели у него все кости.

Глава V,

в коей продолжается рассказ о злключении нашего рыцаря

Убедившись же, что он и в самом деле не может пошевелиться, рыцарь наш решился прибегнуть к обычному своему средству, а именно: припомнить какое-нибудь из происшествий, что описываются в романах, и тут расстроенному его воображению представилось то, что произошло между Балдуином и маркизом Мантуанским после того, как Карлотто ранил Балдуина в горах, – представилась вся эта история, хорошо известная детям, памятная юношам, пользующаяся успехом у старцев, которые также склонны принимать ее на веру, и, однако ж, не более правдивая, чем рассказы о чудесах Магомета. Между этой самой историей и тем, что произошло с ним самим, Дон Кихот нашел нечто общее; и вот в сильном волнении стал он кататься по земле и чуть слышно произносить слова, будто бы некогда произнесенные раненым Рыцарем Леса:

Что же медлишь ты, сеньора,
Утолить мою печаль?
Может, ты о ней не знаешь,
Иль тоски моей не жаль?

И так, читая на память этот романс, дошел он наконец до стихов:

Вы, владетель мантуанский,
Дядя и властитель мой!

В то время как Дон Кихот читал эти стихи, по той же самой дороге случилось ехать его односельчанину, возвращавшемуся с мельницы, куда он возил зерно; и как скоро увидел он, что на земле лежит человек, то приблизился к нему и спросил, кто он таков, что у него болит и отчего он так жалобно стонет. Дон Кихот, разумеется, вообразил, что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и потому вместо ответа снова повел рассказ о своем несчастье и о любви сына императора к своей мачехе, точь-в-точь как о том поется в романсе.

Земледелец с удивлением выслушал эти бредни, затем снял с него забрало, сломавшееся от ударов, и отер с его лица пыль; отерев же, тотчас узнал его и сказал:

– Сеньор Кихана! (Так звали Дон Кихота, пока он еще не лишился рассудка и из степенного идалго не превратился в странствующего рыцаря.) Кто же это вас так избил?

Но Дон Кихот на все вопросы отвечал стихами из того же самого романса. Тогда добрый земледелец, чтобы удостовериться, не ранен ли он, с великим бережением снял с него нагрудник и наплечье, однако ж ни крови, ни каких-либо ссадин не обнаружил. Он поднял его и, полагая, что осел более смирное животное, не без труда посадил на своего осла. Затем подобрал оружие, даже обломки копья, все это привязал к седлу Росинанта, взял и его и осла под уздцы и, погруженный в глубокое раздумье, пропуская мимо ушей то, что говорил Дон Кихот, зашагал по направлению к своему селу. Дон Кихот тоже впал в задумчивость; избитый до полусмерти, он едва мог держаться в седле и по временам выпускал достигавшие неба вздохи, так что земледелец в конце концов снова принужден был спросить, что у него болит, но Дон Кихоту точно сам дьявол нашептывал разные сказки, применимые к его собственным похождениям, ибо в эту минуту он, уже забыв о Балдуине, вспомнил о том, как антекерский алькайд Родриго де Нарваэс взял в плен мавра Абиндарраэса и привел его в свой замок. И когда земледелец снова задал ему вопрос, как он поживает и как себя чувствует, он обратился к нему с теми же словами, с какими в прочитанной им некогда книге Хорхе де Монтемайора *Диана*,

где описывается эта история, пленный Абенсерраг обращается к Родриго де Нарваэсу. И так искусно сумел он применить историю с мавром к себе, что, слушая эту галиматью, земледелец не один раз помянул черта; именно эта галиматья и навела земледельца на мысль, что односельчанин его спятил, и, чтобы поскорей отвязаться от Дон Кихота, докучавшего ему своим многословием, решил он прибавить шагу. Дон Кихот же объявил в заключение:

– Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я вам сейчас рассказывал, это и есть очаровательная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершал, совершаю и совершу такие подвиги, каких еще не видел, не видит и так никогда и не увидит свет.

Земледелец ему на это сказал:

– Горе мне с вами, ваша милость! Да поймите же, сеньор, что никакой я не дон Родриго де Нарваэс и не маркиз Мантуанский, а всего-навсего Педро Алонсо, ваш односельчанин. Так же точно и ваша милость: никакой вы не Балдуин и не Абиндарраэс, а почтенный идалго, сеньор Кихана.

– Я сам знаю, кто я таков, – возразил Дон Кихот, – и еще я знаю, что имею право назваться не только теми, о ком я вам рассказывал, но и всеми Двенадцатью Пэрами Франции, а также всеми Девятью Мужами Славы, ибо подвиги, которые они совершили и вместе и порознь, не идут ни в какое сравнение с моими.

Продолжая такой разговор, под вечер достигли они своего села; однако ж избитый идалго еле держался в седле, так что земледелец, чтобы никто не увидел его, рассудил за благо дожждаться темноты. А когда уже совсем стемнело, он направился прямо к дому Дон Кихота, где в это время царило великое смятение и откуда доносился громкий голос ключницы, разговаривавшей с двумя ближайшими друзьями нашего рыцаря, священником и цирюльником.

– Что вы скажете, сеньор лицензиат Перо Перес (так звали священника), о злословии моего господина? Вот уж три дня, как исчезли и он, и лошадь, и щит, и копье, и доспехи. Что я за несчастная! Одно могу сказать – и это так же верно, как то, что все мы сначала рождаемся, а потом умираем, – начитался он этих проклятых рыцарских книжек, вот они и свели его с ума. Теперь-то я припоминаю, что, рассуждая сам с собой, он не раз изъявлял желание сделаться странствующим рыцарем и ради приключений начать скитаться по всему белому свету. Пускай Сатана и Варавва унесут эти книги, коли из-за них помрачился светлый его ум: ведь другого такого не сыщешь во всей Ламанче.

Племянница к ней присоединилась.

– Знаете, сеньор маэсе Николас, – заговорила она, обращаясь к цирюльнику, – дядюшке моему не раз случалось двое суток подряд читать скверные эти *романы злословий*. Потом, бывало, бросит книгу, схватит меч и давай тыкать в стены, пока совсем не выбьется из сил. «Я, скажет, убил четырех великанов, а каждый из них ростом с башню». Пот с него градом, а он говорит, что это кровь течет, – его, видите ли, ранили в бою. Ну, а потом выпьет целый ковш холодной воды, отдохнет, успокоится: это, дескать, драгоценный напиток, который ему принес мудрый – как бишь его? – не то Алкиф, не то Паф-пиф, великий чародей и его верный друг. Нет, это я во всем виновата: если б я заранее уведомила вас, что у дядюшки не все дома, то ваши милости не дали бы ему дойти до такой крайности, вы сожгли бы все эти богомерзкие книги, ведь у него пропасть таких, которые давно пора, все равно как писания еретиков, бросить в костер.

– Я тоже так думаю, – заметил священник, – и даю вам слово, что завтра же мы устроим аутодафе и предадим их огню, дабы впредь не подбивали они читателей на такие дела, какие, по-видимому, творит сейчас добрый мой друг.

Земледелец и Дон Кихот слышали весь этот разговор, и тут земледелец, вполне уразумев, какого рода недуг овладел его односельчанином, стал громко кричать:

– Ваши милости! Откройте дверь сеньору Балдуину, тяжело раненному маркизу Мантуанскому и сеньору мавру Абиндарраэсу, которого ведет в плен антекерский алькайд, доблестный Родриго де Нарваэс!

На крик выбежали все, и как скоро мужчины узнали своего друга, а женщины – дядю своего и господина, который все еще сидел на осле, ибо не мог слезть, то бросились обнимать его. Он же сказал им:

– Погодите! Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель и, если можно, позовите мудрую Урганду, чтобы она осмотрела и залечила мои раны.

– Вот беда-то! – воскликнула ключница. – Чужало мое сердце, на какую ногу захромал мой хозяин! Слезайте с богом, ваша милость, мы и без этой *Поганды* сумеем вас вылечить. До чего же довели вас эти рыцарские книжки, будь они трижды прокляты!

Дон Кихота отнесли на постель, осмотрели его, однако ран на нем не обнаружили. Он же сказал, что просто ушибся, ибо, сражаясь с десятью исполинами, такими страшными и дерзкими, каких еще не видывал свет, он вместе со своим конем Росинантом грянулся оземь.

– Те-те-те! – воскликнул священник. – Дело уже и до исполинов дошло? Накажи меня бог, если завтра же, еще до захода солнца, все они не будут сожжены.

Дон Кихота забросали вопросами, но он, не пожелав отвечать, попросил лишь, чтобы ему дали поесть и поспать, в чем он теперь, мол, особенно нуждается. Желание его было исполнено, а затем священник начал подробно расспрашивать земледельца о том, как ему удалось найти Дон Кихота. Когда же земледелец рассказал ему все, не утаив и той чуши, какую, валяясь на земле и по дороге домой, молол наш рыцарь, лицензиат загорелся желанием как можно скорее осуществить то, что он действительно на другой день и осуществил, а именно: зашел за своим приятелем, цирюльником маэсе Николасом, и вместе с ним отправился к Дон Кихоту.

Глава VI

О тщательнейшем и забавном осмотре, который священник и цирюльник произвели в книгохранилище хитроумного нашего идалго

Тот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключ от комнаты, где находились эти зловредные книги, и она с превеликою готовностью исполнила его просьбу; когда же все вошли туда, в том числе и ключница, то обнаружили более ста больших книг в весьма добротных переплетах, а также другие книги, менее внушительных размеров, и ключница, окинув их взглядом, опрометью выбежала из комнаты, но тотчас же вернулась с чашкой святой воды и с кропилом.

– Пожалуйста, ваша милость, сеньор лиценциат, окропите комнату, – сказала она, – а то еще кто-нибудь из волшебников, которые прячутся в этих книгах, заколдует нас в отместку за то, что мы собираемся сжечь их всех со свету.

Посмеялся лиценциат простодушью ключницы и предложил цирюльнику такой порядок: цирюльник будет передавать ему эти книги по одной, а он-де займется их осмотром, – может статься, некоторые из них и не повинны смерти.

– Нет, – возразила племянница, – ни одна из них не заслуживает прощения, все они причинили нам зло. Их надобно выбросить в окно, сложить в кучу и поджечь. А еще лучше отнести на скотный двор и там сложить из них костер, тогда и дым не будет нас беспокоить.

Ключница к ней присоединилась – обе они страстно желали гибели этих невинных страдальцев; однако ж священник настоял на том, чтобы сперва читать хотя бы заглавия. И первое, что вручил ему маэсе Николас, это *Амадиса Галльского в четырех частях*.

– В этом есть нечто знаменательное, – сказал священник, – сколько мне известно, перед нами первый рыцарский роман, вышедший из печати в Испании, и от него берут начало и ведут свое происхождение все остальные, а потому, мне кажется, как основоположника сей богопротивной ереси, должны мы без всякого сожаления предать его огню.

– Нет, сеньор, – возразил цирюльник, – я слышал другое: говорят, что это лучшая из книг, кем-либо в этом роде сочиненных, а потому, в виде особого исключения, должно его помиловать.

– Ваша правда, – согласился священник, – примем это в соображение и временно даруем ему жизнь. Посмотрим теперь, кто там стоит рядом с ним.

– *Подвиги Эспландиана*, законного сына Амадиса Галльского, – возгласил цирюльник.

– Справедливость требует заметить, что заслуги отца на сына не распространяются, – сказал священник. – Нате, сеньора домоправительница, откройте окно и выбросьте его, пусть он положит начало груде книг, из которых мы устроим костер.

Ключница с особым удовольствием привела это в исполнение: добрый Эспландиан полетел во двор и там весьма терпеливо стал дожидаться грозившей ему казни.

– Дальше, – сказал священник.

– За ним идет *Амадис Греческий*, – сказал цирюльник, – да, по-моему, в этом ряду одни лишь Амадисовы родичи и стоят.

– Вот мы их всех сейчас и выбросим во двор, – сказал священник. – Только за то, чтобы иметь удовольствие сжечь королеву Пинтикинестру, пастушка Даринеля с его эклогами и всю эту хитросплетенную чертовщину, какую развел здесь автор, я и собственного родителя не постеснялся бы сжечь, если бы только он принял образ странствующего рыцаря.

– И я того же мнения, – сказал цирюльник.

– И я, – сказала племянница.

– А коли так, – сказала ключница, – давайте их сюда, я их прямо во двор.

Ей дали изрядное количество книг, и она, щадя, как видно, лестницу, побросала их в окно.

– А это еще что за толстяк? – спросил священник.

– *Дон Оливант Лаврский*, – отвечал цирюльник.

– Эту книгу сочинил автор *Цветочного сада*, – сказал священник. – Откровенно говоря, я не сумел бы определить, какая из них более правдива или, вернее, менее лжива. Одно могу сказать: книга дерзкая и нелепая, а потому – в окно ее.

– Следующий – *Флорисмарт Гирканский*, – объявил цирюльник.

– А, и сеньор Флорисмарт здесь? – воскликнул священник. – Бьюсь об заклад, что он тоже мгновенно очутится на дворе, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, при которых он произошел на свет, и на громкие его дела. Он написан таким тяжелым и сухим языком, что ничего иного и не заслуживает. Во двор его, сеньора домоправительница, и еще вот этого заодно.

– Охотно, государь мой, – молвила ключница, с великою радостью исполнявшая все, что ей приказывали.

– Это *Рыцарь Платир*, – объявил цирюльник.

– Старинный роман, – заметил священник, – однако ж я не вижу причины, по которой он заслуживал бы снисхождения. Без всяких разговоров препроводите его туда же.

Как сказано, так и сделано. Раскрыли еще одну книгу, под заглавием *Рыцарь Креста*.

– Ради такого душеспасительного заглавия можно было бы простить автору его невежество. С другой стороны, недаром же говорится: «За крестом стоит сам дьявол». В огонь его!

Цирюльник достал с полки еще один том и сказал:

– Это *Зерцало рыцарства*.

– Знаю я сию почтенную книгу, – сказал священник. – В ней действуют сеньор Ринальд Монтальванский со своими друзьями-приятелями, жуликами почище самого Кака, и Двенадцать Пэров Франции вместе с их правдивым летописцем Турпином. Впрочем, откровенно говоря, я отправил бы их на вечное поселение – и только, хотя бы потому, что они причастны к замыслу знаменитого Маттео Боярдо, сочинение же Боярдо, в свою очередь, послужило канвой для Лодовико Ариосто, поэта, проникнутого истинно христианским чувством, и вот если мне попадется здесь Ариосто и если при этом обнаружится, что он говорит не на своем родном, а на чужом языке, то я не почувствую к нему никакого уважения, если же на своем, то я возложу его себе на голову.

– У меня он есть по-итальянски, – сказал цирюльник, – но я его не понимаю.

– И хорошо, что не понимаете, – заметил священник, – мы бы и сеньору военачальнику это простили, лишь бы он не переносил Ариосто в Испанию и не делал из него кастильца: ведь через то он лишил его многих природных достоинств, как это случается со всеми, кто берется переводить поэтические произведения, ибо самому добросовестному и самому искусному переводчику никогда не подняться на такую высоту, какой достигают они в первоначальном своем виде. Словом, я хочу сказать, что эту книгу вместе с прочими досужими вымыслами французских сочинителей следует бросить на дно высохшего колодца, и пусть они там и лежат, пока мы, по зрелом размышлении, не придумаем, как с ними поступить; я бы только не помиловал *Бернардо дель Карньо*, который, уж верно, где-нибудь тут притаился, и еще одну книгу, под названием *Ронсеваль*: эти две книги, как скоро они попадутся мне в руки, тотчас перейдут в руки домоправительницы, домоправительница же без всякого снисхождения предаст их огню.

Цирюльник поддержал священника, – он почитал его за доброго христианина и верного друга истины, который ни за какие блага в мире не станет кривить душой, а потому суждения его показались цирюльнику справедливыми и весьма остроумными. Засим он раскрыл еще одну книгу: то был *Пальмерин Оливский*, а рядом с ним стоял *Пальмерин Английский*. Прочитав заглавия, лицензиат сказал:

– *Оливку* эту растоптать и сжечь, а пепел развеять по ветру, но английскую *пальму* должно хранить и беречь, как зеницу ока, в особом ларце, вроде того, который найден был Александром Македонским среди трофеев, оставшихся после Дария, и в котором он потом хранил творения Гомера. Эта книга, любезный друг, достойна уважения по двум причинам: во-первых, она отменно хороша сама по себе, а во-вторых, если верить преданию, ее написал один мудрый португальский король. Приключения в замке *Сле-ди-и-бди* очаровательны – все они обличают в авторе великого искусника. Бдительный автор строго следит за тем, чтобы герои его рассуждали здраво и выражали свои мысли изысканно и ясно, в полном соответствии с положением, какое они занимают в обществе. Итак, сеньор маэсе Николас, буде на то ваша добрая воля, этот роман, а также *Амадис Галльский* избегнут огня, прочие же, без всякого дальнейшего осмотра и проверки, да погибнут.

– Погодите, любезный друг, – возразил цирюльник, – у меня в руках прославленный *Дон Бельянис*.

– Этому, – рассудил священник, – за вторую, третью и четвертую части не мешает дать ревеню, дабы освободить его от избытка желчи, а затем надлежит выбросить из него все, что касается Замка Славы, и еще худшие несуразности, для каковой цели давайте отложим судебное разбирательство на неопределенный срок, дабы потом, в зависимости от того, исправится он или нет, вынести мягкий или же суровый приговор. А пока что, любезный друг, возьмите его себе, но только никому не давайте читать.

– С удовольствием, – молвил цирюльник.

Не желая тратить силы на дальнейший осмотр рыцарских романов, он велел ключнице забрать все большие тома и выбросить во двор. Ключница же не заставляла себя долго ждать и упрашивать – напротив, складывать из книг костер представлялось ей куда более легким делом, нежели ткать огромный кусок тончайшего полотна, а потому, схватив в охапку штук восемь зараз, она выкинула их в окно. Ноша эта оказалась для нее, впрочем, непосильною, и одна из книг упала к ногам цирюльника, – тот, пожелав узнать, что это такое, прочел: *История славного рыцаря Тиранта Белого*.

– С нами крестная сила! – возопил священник. – Как, и *Тирант Белый* здесь? Дайте-ка мне его, любезный друг, это же сокровищница наслаждений и залежи утех. В нем выведены доблестный рыцарь дон Кириэлейсон Монтальванский, брат его, Томас Монтальванский, и рыцарь Фонсека, в нем изображается битва отважного Тиранта с догом, в нем описываются хитрости девы Отрады, шашни и плутни вдовы Потрафиры и, наконец, сердечная склонность императрицы к ее конюшему Ипполиту. Уверяю вас, любезный друг, что в рассуждении слога это лучшая книга в мире. Рыцари здесь едят, спят, умирают на своей постели, перед смертью составляют завещания, и еще в ней много такого, что в других книгах этого сорта отсутствует. Со всем тем автор ее умышленно нагородил столько всякого вздора, что его следовало бы приговорить к пожизненной каторге. Возьмите ее с собой, прочтите, и вы увидите, что я сказал о ней истинную правду.

– Так я и сделаю, – сказал цирюльник. – А как же быть с маленькими книжками?

– Это не рыцарские романы, это, как видно, стихи, – сказал священник.

Раскрыв наудачу одну из них и увидев, что это *Диана Хорхе де Монтемайора*, он подумал, что и остальные должны быть в таком же роде.

– Эти жечь не следует, – сказал он, – они не причиняют и никогда не причинят такого зла, как рыцарские романы: это хорошие книги и совершенно безвредные.

– Ах, сеньор! – воскликнула племянница. – Давайте сожжем их вместе с прочими! Ведь если у моего дядюшки и пройдет помешательство на рыцарских романах, так он, чего доброго, примется за чтение стихов, и тут ему вспадет на ум сделаться пастушком: станет бродить по рощам и лугам, петь, играть на свирели или, еще того хуже, сам станет поэтом, а я слыхала, что болезнь эта прилипчива и неизлечима.

– Девушка говорит дело, – заметил священник, – лучше устранить с пути нашего друга и этот камень преткновения. Что касается *Дианы* Монтемайора, то я предлагаю не сжигать эту книгу, а только выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисье и волшебной воде, а также почти все длинные строчки, оставим ей в добрый час ее прозу и честь быть первой в ряду ей подобных.

– За нею следуют так называемая *Вторая Диана*, *Диана* Саламантинца, – сказал цирюльник, – и еще одна книга под тем же названием, сочинение Хиля Поло.

– Саламантинец отправится вслед за другими во двор и увеличит собою число приговоренных к сожжению, – рассудил священник, – но *Диану* Хиля Поло должно беречь так, как если бы ее написал сам Аполлон. Ну, давайте дальше, любезный друг, мешкать нечего, ведь уж поздно.

– Это *Счастье любви в десяти частях*, – вытащив еще одну книгу, объявил цирюльник, – сочинение сардинского поэта Антонио де Лофрасо.

– Клянусь моим саном, – сказал священник, – что с тех пор, как Аполлон стал Аполлоном, музы – музами, а поэты – поэтами, никто еще не сочинял столь занятой и столь нелепой книги; это единственное в своем роде сочинение, лучшее из всех ему подобных, когда-либо появлявшихся на свет божий, и кто ее не читал, тот еще не читал ничего увлекательного. Дайте-ка ее сюда, любезный друг, – если б мне подарили сутану из флорентийского шелка, то я не так был бы ей рад, как этой находке.

Весьма довольный, он отложил книгу в сторону, а цирюльник между тем продолжал:

– Далее следуют *Иберийский пастух*, *Энаресские нимфы* и *Исцеление ревности*.

– Предадим их, не колеблясь, в руки светской власти, сиречь ключницы, – сказал священник. – Резонов на то не спрашивайте, иначе мы никогда не кончим.

– За ними идет *Пастух Филиды*.

– Он вовсе не пастух, – заметил священник, – а весьма просвещенный столичный житель. Будем беречь его как некую драгоценность.

– Эта толстая книга носит название *Сокровищницы разных стихотворений*, – объявил цирюльник.

– Будь их поменьше, мы бы их больше ценили, – заметил священник. – Следует выполоть ее и очистить от всего низкого, попавшего в нее вместе с высоким. Поощрим ее, во-первых, потому, что автор ее – мой друг, а во-вторых, из уважения к другим его произведениям, более возвышенным и героичным.

– Вот *Сборник песен* Лопеса Мальдонадо, – продолжал цирюльник.

– С этим автором мы тоже большие друзья, – сказал священник, – и в его собственном исполнении песни эти всех приводят в восторг, ибо голос у него поистине ангельский. Эклоги его растянуты, ну да ведь хорошим никогда сыт не будешь. Присоединим же его к избранникам. А что за книга стоит рядом с этой?

– *Галатея* Мигеля де Сервантеса, – отвечал цирюльник.

– С этим самым Сервантесом я с давних пор в большой дружбе, и мне хорошо известно, что в стихах он одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется бед. Кое-что в его книге придумано удачно, но все его замыслы так и остались незавершенными. Подождем обещанной второй части: может статься, он исправится и заслужит наконец снисхождение, в коем мы отказываем ему ныне. А до тех пор держите его у себя в заточении.

– С удовольствием, любезный друг, – сказал цирюльник. – Вот еще три книжки: *Араукана* дона Алонсо де Эрсильи, *Австриада* Хуана Руфо, кордовского судьи, и *Монсеррат* валенсийского поэта Кривоалеа де Вируэса.

– Эти три книги, – сказал священник, – лучшее из всего, что было написано героическим стихом на испанском языке: они стоят наравне с самыми знаменитыми итальянскими поэмами. Берегите их – это вершины испанской поэзии.

Наконец просмотр книг утомил священника, и он предложил сжечь остальные без разбора, но цирюльник как раз в это время раскрыл еще одну – под названием *Слезы Анджелики*.

– Я бы тоже проливал слезы, когда бы мне пришлось сжечь такую книгу, – сказал священник, – ибо автор ее один из лучших поэтов не только в Испании, но и во всем мире, и он так чудесно перевел некоторые сказания Овидия!

Глава VII

О втором выезде доброго нашего рыцаря Дон Кихота Ламанчского

В это время послышался голос Дон Кихота.

– Сюда, сюда, отважные рыцари! – кричал он. – Пора вам выказать силу доблестных ваших дланей, не то придворные рыцари возьмут верх на турнире.

Пришлось прекратить осмотр книгохранилища и бежать на шум и грохот, – оттого-то некоторые и утверждают, что *Карлиада* и *Лев Испанский*, а также *Деяния императора* дона Луиса де Авила, вне всякого сомнения находившиеся среди неразобранных книг, без суда и следствия полетели в огонь, тогда как если бы священник видел их, то, может статься, они и не подверглись бы столь тяжкому наказанию.

Войдя к Дон Кихоту в комнату, друзья и домашние его обнаружили, что он уже встал с постели; казалось, он и не думал спать, – так он был оживлен: по-прежнему шумел, безумствовал, тыкал во все стороны мечом. Его схватили и насильно уложили в постель, – тут он несколько успокоился и, обратившись к священнику, молвил: – Какой позор, – не правда ли, сеньор архиепископ Турпин? – что так называемые Двенадцать Пэров ни с того ни с сего уступили пальму первенства на турнире придворным рыцарям, тогда как мы, странствующие рыцари, три дня подряд пожинали плоды победы!

– Полно, ваша милость, полно, любезный друг, – заговорил священник. – Бог даст, все обойдется, – что упущено сегодня, то всегда можно наверстать завтра, а теперь, ваша милость, подумайте о своем здоровье: сдастся мне, вы очень устали, а может быть, даже и ранены.

– Ранен-то я не ранен, – возразил Дон Кихот, – а что меня избили и отколотили, в этом нет сомнения: ублюдок Роланд бросился на меня с дубиной – и все из зависти, ибо единственно, кто не уступит ему в храбрости, так это я. Но не будь я Ринальд Монтальванский, если, встав с этого ложа, я ему не отомщу, несмотря на все его чары. А пока что принесите мне поесть, сейчас я ни в чем так не нуждаюсь, как в пище, а уж постоять за себя я и сам сумею.

Желание Дон Кихота было исполнено: ему принесли поесть, а затем он снова заснул, прочие же еще раз подивились его сумасбродству.

В ту же ночь стараниями ключницы были сожжены дотла все книги: и те, что валялись на дворе, и те, что еще оставались в комнате; по всей вероятности, вместе с ними сгорели и такие, которые надобно было сдать на вечное хранение в архив, но этому помешали судьба и нерадение учинявшего осмотр, – недаром говорит пословица, что из-за грешников частенько страдают и праведники.

Священник с цирюльником решили, что первое средство от недуга, который овладел их приятелем, – это заложить и замуровать вход в книгохранилище, чтобы, встав с постели, он не нашел его (если, мол, устранить причину, то следствия, может статься, отпадут сами собой), а затем объявить ему, что некий волшебник вместе со всеми книгами похитил и комнату; и все это было осуществлено с великим проворством. Два дня спустя Дон Кихот встал с постели и прежде всего пошел взглянуть на свои книги, но, не обнаружив помещения, в котором они находились, стал бродить и шарить по всем комнатам. Несколько раз подходил к тому месту, где раньше была дверь, ощупывал стену, молча обводил глазами комнату; наконец после долгих поисков он спросил ключницу, где находится его книгохранилище. Ключницу же научили, как должно отвечать.

– О каком таком книгохранилище вы говорите, ваша милость? – в свою очередь, спросила она. – Нет у нас теперь ни книг, ни хранилища, все унес дьявол.

– Вовсе не дьявол, а волшебник, – возразила племянница. – После того как вы от нас уехали, ваша милость, на следующую ночь он прилетел сюда на облаке, спрыгнул с дракона, на котором сидел верхом, и проник в книгохранилище. Не знаю, что он там делал, только немного

погода, гляжу, вылетает через крышу, а в комнатах полно дыму. Пошли мы посмотреть, что он натворил, а уж ни книг, ни комнаты нет и в помине. Одно только мы обе отлично помним: улетаая, этот злой старик громко крикнул, что по злобе, которую он втайне питает к владельцу книг и помещения, он нанес его дому урон и что урон этот впоследствии обнаружится. Еще он сказал, что зовут его мудрый Муньятон.

– Не Муньятон, а Фрестон, – поправил ее Дон Кихот.

– Не то Фрестон, не то Фритон, – вмешалась ключница, – помню только, что имя его оканчивается на *тон*.

– Так, так, – подхватил Дон Кихот, – это один мудрый волшебник, злейший мой враг: он меня ненавидит, ибо колдовские чары и тайнопись открыли ему, что по прошествии некоторого времени мне предстоит единоборство с рыцарем, коему он покровительствует, и что, несмотря на все его козни, я над тем рыцарем одержу победу, оттого-то он всеми силами и старается мне досадить. Но да будет ему известно, что ни нарушить, ни обойти предустановленного небесами он не властен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.